

ВЛАДИМИР ЯРАОВ



Владимир Ярдов

Горын

<https://litres.ru/74195003>

SelfPub; 2026

Аннотация

Он не спит уже тысячи лет. Старый механик Егор живет в гараже на окраине Смоленска, чинит машины и терпит философствования наглого ворона. Соседи считают его чудаком. Никто не знает, что он — древний дух, питающийся чужими кошмарами.

Однажды он нарушает главный закон и теперь у него всего несколько дней, чтобы всё исправить.

Чтобы выжить, он должен забрать свой дар обратно. Но сможет ли он отнять свет у того, кого полюбил? Или станет чудовищем, которое боится сам себя?

Мистическая драма о цене любви и о том, как трудно оставаться человеком, когда внутри тебя живет бездна.

Владимир Ярдов

Горын

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МЕХАНИК СНА

ГЛАВА 1. ГАРАЖ В КОНЦЕ УЛИЦЫ

ПРОБУЖДЕНИЕ

Он очнулся от того, что кто-то настойчиво сверлил затылок. Не буром, не дрелью — взглядом. Ворон сидел на балке, склонив голову набок, и смотрел. Одним глазом. Блестящим, как чёрная бусина.

— Кчего клежишь? — картаво проскрипел ворон. — Кхватит дрыхнуть.

— Я не сплю, — сказал Горын. Он никогда не спал. Просто иногда уходил в то состояние, которое люди называют дремотой.

— Квыглядит ккак сон, — не унимался тот.

— Отстань.

Егор сел на диван — старый, продавленный, который он называл «койкой», хотя койка была железная, военная, а это было что-то мягкое, доброе, доставшееся неизвестно от кого. В подсобке было темно, только из-под ворот тянулась тонкая полоска рассвета, серая, скупая, смоленская.

Он посидел, привыкая к себе. Потрогал лицо — морщины, на месте. Сжал пальцы — слушаются, суставы болят. Выглядел он лет на шестьдесят — так говорили люди, да и зеркало в гараже не врало. Но сколько на самом деле? Шестьдесят? Семьдесят? Он давно сбился со счёта. Люди стареют быстрее. А он — медленно, очень медленно. С сорок третье-го минуло чуть больше восьмидесяти лет.

Считать годы для того, кто жил веками, — это как считать песчинки в пустыне: можно, но зачем?

Вздыхнул. Вдохнул.

Воздух в гараже стоял густой, тяжёлый. Железо — холодное, утреннее — всю ночь набиралось сырости из бетонного пола и теперь отдавало её обратно: ржавчиной, окалиной, чем-то древним, как первый молот, ударивший по первой наковальне. Машинное масло въелось в доски верстака, в тряпки, в поры его ладоней так глубоко, что, наверное, если б его когда-нибудь кремировали, дым пах бы не мясом — соляр-

кой.

А ещё здесь пахло липой.

Этот запах лез откуда-то из подсобки — из кружки, которую Горын налил вчера из термоса и так и не допил. И из банки с мёдом, что стояла на верстаке — липовая, тёмная, густая. Липа лезла в ноздри, путалась с маслом, с железом, с утренней сыростью. И это было правильно. Так и должно было быть.

— Ну. — Голос сел, хриплый, утренний.

Ворон на балке завозился, сухая лапа свесилась вниз, за- качалась.

— Кчайник бы кпоставил. — сказал он.

— Сам поставь.

— Кя кптица. Кчайники — это ваша кстихия.

— Твоя стихия — воровать еду и философствовать с балки, — буркнул Горын, но поставил чайник на электроплиту.

— Кфилософия — это кудел мыслящих, — назидательно

заметил ворон. — Кя кмыслю — значит, ксуществую.

— Ты существуешь, потому что я тебя кормлю.

— Ккормишь? — ворон обиженно взъерошился. — Я ксам ем.

Горын покачал головой. Много лет он жил с этой наглой птицей, и каждый день она умудрялась его удивить. То философскими рассуждениями, то коммерческой хваткой. Иногда ему казалось, что ворон — это не просто птица, а перевоплотившийся биржевой маклер, который в прошлой жизни прогорел на чём-то крупном и теперь отсиживается в гараже, делая вид, что у него сухая лапа.

— Кзакипает, — сказал ворон, прислушиваясь. — Кне кпроспи.

— Я не сплю.

— Кточно? Ктогда почему кты только что кхрапел?

— Я не храпел. — Горын даже приостановился с чайником. — Это невозможно. Я никогда не сплю.

— Кхрапел. Я кслышал, — не унимался ворон.

— Хватит!

Ворон обиженно замолчал. Засунул голову под крыло и сделал вид, что спит. Горын усмехнулся, снял чайник, заварил липу, положил мёд в блюдце — тоже липовый, из той самой банки, — поставил на верстак, достал хлеб, сыр, колбасу, быстро соорудил пару бутербродов.

Будильник звякнул.

— Жить можно, — сказал Егор, садясь на табурет.

Он отхлебнул чай. Горьковато, сладко, с лёгкой терпкостью.

Липа.

Всё с липой. Чай — липовый. Мёд — липовый. Даже запах в гараже — липовый.

Он пил этот чай каждое утро уже много лет. Не потому, что любил — хотя любил. А потому, что липа была единственным, что работало.

Внутри него всегда что-то гудело. Не боль. Не страх. Что-

то другое. Что-то, что не имело названия, но отнимало силы, мешало дышать ровно, держало в постоянном напряжении. Липа это не убирала. Она давала передышку.

Пока закипает вода — можно не слушать этот гул.

Пока настаивается чай — можно не чувствовать тяжесть.

Пока пьёшь — можно просто быть.

Три глотка — и внутри становится тише.

Кружка — и можно дышать ровно.

Ложка мёда — если чай не успевает, если гул становится слишком громким. Липового мёда. Густого, тёмного, тягучего. Он действовал быстрее. Но заканчивался тоже быстрее.

Поэтому Горын берёг мёд. А пил чай — каждый день.

Он не знал, как это работает. И не хотел знать. Главное — работало.

Липа была его эликсиром. Его ритуалом. Его якорем.

В чае. В мёде. В запахе, который не выветривался из гаража годами.

С ней он мог прожить ещё один день. Не срываясь. Не ломаясь. Просто — существуя.

Он не допил чай. Поставил кружку на верстак. Чтобы запах остался.

Ритуал был закончен.

Он отвернулся долить кипятку. Ворон метнулся к верстаку, цапнул кружок колбасы, взлетел на балку.

Горын повернулся обратно, отхлебнул чай, взял один бутерброд, поднёс ко рту.

— Кколбаса, — сказал вдруг ворон с балки. Голос был мечтательный, почти философский.

— Что? — Горын поднял голову.

— Кя говорю, кколбаса — ксамая полезная кедя на ксвете.

— С чего ты взял?

— Кя кчитал. Кв колбасе белок, кжиры, углеводы. Квсе что кнужно организму. Кособенно квороньему.

— Ты читать не умеешь.

— Кну кслышал, — не сдавался ворон.

Он помолчал, устраиваясь на балке поудобнее.

— Ки кзнаешь, — добавил он вкрадчиво, — кбывает такая кколбаса, при кпроизводстве которой ни одно кживотное кне пострадало.

— Как это? — Горын откусил бутерброд.

— Кчистая кправда. Кеё делают из ксои, кминеральных масел и кароматизаторов. Кочень гуманно.

— И полезно?

— Кполезно, — уверенно кивнул ворон. — Кпотому что кхимия — кэто тоже еда. Ка в кхимии все кэлементы. Казот, водород, куглекислый газ.

Горын жевал, слушал и вдруг замер. Из уголка вороньего клюва торчала тонкая полоска — шкурка колбасы. Красноватая, маслянистая. Ворон продолжал рассуждать, совершенно невозмутимо:

— Ксоя, конечно, не кзаменит настоящее кмясо.

Горын положил бутерброд.

— Ты стащил мою колбасу.

Ворон виновато прикрыл глаз.

— Кя ктолько попробовал, — сказал он. — Кна ккачество.

— И как качество?

— Котличное, — признал ворон. — Кнемного пресно, кно для птицы — ксамое кто.

Горын достал ещё один кусок колбасы, положил на край верстака.

— Ешь. Ворует как будто его не кормлю.

В гараже в конце улицы Рыленкова старик с чужим именем и птица с сухой лапой начинали новый день.

БУДИЛЬНИК МЕХАНИКА

Напившись чаю, Горын встал, подошёл к верстаку. Будильник стоял между ключами и банкой с мёдом. Круглый циферблат, треснутое стекло, стрелки сошлись на шести —

или на восемнадцать? Он никогда не переводил их на правильное время. Не нужно было ему точное время. Ему нужно было помнить. Помнить о том, кто он есть на самом деле.

Горын взял его, перевернул. На задней крышке, нацарапанные гвоздём, тянулись буквы.

«Готлиб Шлафер, 1943».

Он провёл пальцем по надписи. Прочитал про себя. Потом сказал шёпотом:

— Механик.

Это не было его именем. Это было имя, которое он носил. Как чужую одежду, которая прижилась, обмялась по фигуре и стала родной. Настолько родной, что он уже не помнил, каково это — быть без неё.

Егор поставил будильник на место.

Будильник звонил не по расписанию, а когда Горыну было хорошо — когда внутри был покой, когда удавалось помочь человеку, когда мир вокруг казался хоть немного правильным. В последнее время он молчал всё чаще.

Потом тронул ключи. Они лежали на верстаке в строгом порядке — от маленького до большого. Горын подвинул большой ключ влево, вернул. Передвинул средний. Остановился.

Ритуал. Порядок. Иллюзия того, что мир управляем. Для того, кто притворяется человеком — вдвойне важно.

Вернув ключи на место, он почувствовал привычное удовлетворение. Можно жить дальше.

Горын подошёл к окну — маленькому, запylённому, выходящему на пустырь. За пустырём начинался город. Он видел крыши пятиэтажек, трубу котельной, верхушки тополей. Там просыпались люди. Заводили машины, грели чайники, спорили о чём-то. Там была жизнь. А здесь, в гараже, было что-то другое. Не жизнь и не смерть, а что-то среднее.

Он любил, когда к нему приходили. Клиенты — случайные, заезжие, те, кто сломался на трассе или услышал от кого-то, что в конце улицы есть механик, чинящий всё, — заходили в гараж, садились на диван, принимались говорить. О себе. О том, что болит. О том, что не даёт спать по ночам. Горын слушал. Иногда вставлял слово, рассказывал что-то — придуманное на ходу или услышанное от других. Клиенты слушали, кивали, пили чай. И постепенно — он видел это

— их веки тяжелели, плечи опускались, голоса становились тише. Они засыпали. Прямо на диване, прямо в разговоре. А потом просыпались через час, через два, свежие, спокойные, уходили. Вспоминали, что здесь хорошо. Что пахнет липой. Что хочется вернуться.

ДЫРА В ГРУДИ

Они не знали, ЧТО он забирает. То, что мешает спать — тревогу, боль, страх — всё это он забирал себе. Просто проводя рукой по голове против роста волос. Просто дыша с ними в одном ритме. Это было его естеством. Его природой. Тем, для чего он был рождён — или создан, или назван.

Он был Дрёмой.

Но много лет назад — больше восьми десятилетий — он присвоил чужую память, чужое имя и стал человеком. Механиком Егором Готлибовичем Шлафером.

Это была хорошая жизнь. Почти настоящая.

— Что-то будет сегодня, — произнёс Горын.

Он не знал, почему сказал. Может быть, потому, что дыра в груди зудела сильнее обычного. Может быть, потому, что

мир за окном был слишком серым, слишком спокойным. А может быть, потому, что он почувствовал: равновесие начало смещаться. Невидимо. Неслышно. Но необратимо.

Город просыпался. В гараже в конце улицы Рыленкова старик с чужим именем допивал остывший чай и ждал.

Он сам не знал — чего.

Но ждал.

ГЛАВА 2. ПЕРВЫЙ КЛИЕНТ

ПУСТАЯ ЕДА

Он появился ближе к полудню. Горын слышал его раньше, чем увидел: тяжёлая поступь, сбивчивое дыхание, — человек останавливался, словно забывал, куда идёт, потом двигался дальше. Так ходят те, кто долго не спал.

Стук в ворота был робким, неуверенным. Не как некоторые приезжающие чинить машину — колотят громко, с требовательной ноткой: «Эй, хозяин, принимай работу!» Этот стучал так, будто просил милостыню.

— Открыто, — бросил Горын, не поднимая головы от верстака.

Ворота скрипнули. В гараж вползла полоса дневного света, а вместе с ней несмело вошёл мужчина. Лет пятидесяти, в помятой куртке-алюске, с лицом, которое когда-то было круглым и добродушным, а теперь обвисло, как перестоявшее тесто. Глаза красные, под ними — мешки, тяжёлые, синюшные, такие бывают у боксёров после неудачного боя.

— Здравствуйте, — сказал мужчина. Голос скрипел, как несмазанная дверь. — Вы механик?

— Механик, — Горын отложил гаечный ключ. — Заходите. Что случилось?

Мужчина шагнул внутрь, остановился, огляделся. Взгляд скользнул по верстаку, ключам, будильнику, ворону на балке — и ни на чём не задержался. Так смотрят люди, которые видят, но не смотрят. Которые внутри себя, в какой-то тёмной комнате, и оттуда не могут выйти.

— Машина, — сказал он наконец. — Машина у меня. Там... — он махнул рукой в сторону улицы. — Не заводится.

— Какая машина?

— «Вольво». Фура. Я дальнобойщик. Из Ярославля ехал, а тут... — он замолчал, словно забыл, что хотел сказать.

Горын смотрел на него и видел дрожь, живущую под рёбрами, когда мозг уже не спит третью неделю, а тело продолжает двигаться по инерции, как заведённая игрушка, у которой кончается завод.

— Садитесь, — Горын кивнул на диван. — Отдохните с дороги. Я чай налью.

— Да мне бы машину... — мужчина попытался возразить, но ноги уже подогнулись. Он опустился на диван, будто кто-то нажал на плечи. — Я не хочу...

— Липовый чай. Успокаивает.

Горын отвернулся к термосу, плеснул в гранёный стакан заварки, добавил кипяток и ложку мёда. Размешал, поставил перед мужчиной.

— Пейте.

Мужчина взял стакан дрожащими руками. Отхлебнул раз,

другой. И вдруг, не донеся до стола, поставил его на пол, у ног.

— Третью неделю, — сказал он. Сказал так, будто продолжал давно начатый разговор. — Третью неделю не сплю. Закрою глаза — и провал. Но не сон. Темнота. И я в ней, и ничего нет. Просыпаюсь через минуту — а прошёл час. Или два. И не знаю: спал или нет.

Горын умел молчать. Молчание — это пространство, в которое люди выкладывают самое важное. Если перебить, если начать говорить самому — они замкнутся, уйдут обратно в себя, и вытащить их оттуда будет уже невозможно.

— Сын уехал, — продолжал мужчина. Голос его стал ровнее, как будто слова катились по накатанной колее. — В Питер. Поступил. Хорошо, конечно. Я рад. А жена... жена сказала: «Я больше не могу». И ушла. К кому — не знаю. Вернее знаю, но не хочу знать. И вот я за рулём. Еду. Беру больше работы, чтобы отвлечься.

В глазах его — красных, воспалённых — проглянуло что-то детское, беспомощное.

— Вы понимаете? — спросил он. — Я никому не рассказывал. Другьям — не могу. Они скажут: «Держись, мужик».

А я больше не могу держаться. Я устал.

Горын поднялся, забрал стакан из-под ног дальнобойщика. Добавил ещё мёду, долил кипятку, вернул мужчине.

— Пейте. Мёд помогает.

Мужчина послушно отпил. И вдруг Горын начал говорить.

Он не знал, откуда приходят эти слова. Может быть, из памяти Готлиба Шлафера. Может быть, из чего-то более древнего, что жило в нём ещё до имён и лиц. Он говорил о дорогах, которые никогда не кончаются. О том, как важно иногда просто сбросить скорость и дать себе время. О том, что темнота — это не всегда враг. Иногда темнота — это просто тишина, в которой можно отдохнуть, если перестать её бояться.

Он говорил тихо, спокойно, и голос его струился, как чай из заварника — медленно, убаюкивающе. В гараже пахло липой. Мир за воротами сузился до этих стен, до этого стакана, до этого голоса.

Мужчина слушал. Глаза его слипались. Он боролся — Горын видел, как напрягаются мышцы шеи, как пальцы сжима-

ют стакан. Но тело уже не слушалось. Тело требовало своё.

— Отдохните, — выдохнул Горын. — Пospите.

— Не могу...

— Можете. Вы в безопасности.

Мужчина открыл было рот, чтобы возразить, но слова не вышли. Голова его упала на грудь. Стакан накренился — Егор успел подхватить, поставить на стол. Мужчина завалился на бок, поджал ноги, как ребёнок, и задышал ровно, глубоко, с тихим присвистом.

Горын подождал минуту. Потом сел рядом на корточки, медленно, осторожно провёл рукой по голове мужчины. Против роста волос.

И взял. Тревогу, что не давала сомкнуть глаз. Страх одиночества. Горечь утраты, обиду, злость на жену, которая не выдержала, и на сына, который уехал. Всё это — и почувствовал, как дыра в груди наполняется.

Но что-то было не так.

Тысячи лет он забирал чужую тревогу. Тысячи лет он был

сыт — потому что вместе с болью всегда тянул крохотную крупицу радости. Она помогала переваривать то тёмное и горькое, что он вбирал в себя. Без неё еда становилась пустой — как вода без соли, как хлеб без вкуса.

Восемьдесят лет в человеческом облике он не знал сильного голода. Люди приходили к нему — сломанные, уставшие, но в каждом ещё теплилась искра: надежда на завтра, воспоминание о хорошем, любовь к кому-то. Этого хватало.

А теперь...

Он отнял руку. Посмотрел на мужчину. Тот спал, и лицо его разгладилось, ушла та горькая складка между бровями, разжались пальцы, сжимавшие невидимый руль. Он выглядел спокойным. Слишком спокойным. Как будто из него вынули не только тревогу, но и что-то ещё.

Горын нахмурился.

В этом человеке осталось мало радости. Он отщипнул — крохотную, жалкую крупицу, затаившуюся где-то глубоко под слоем усталости. Взял, как брал всегда, — не всё, лишь малую часть, чтобы переварить чужую боль. Но и этой крупички не хватило. Тревога легла в грудь тяжёлым комом, непереваренная, мёртвая.

Вот почему еда была пустой.

— Ккхудо, старый, — раздалось с балки. Ворон смотрел на него.

— Заткнись, — тихо сказал Горын.

— Кне заткнись. Кты не кдоволен — еда пустая.

Горын не ответил. Он сел на табурет, налил себе чаю.

Будильник молчал. Егор покосился на него, но не удивился. Еда была пустой — и будильник это чувствовал.

СТЕЖНИК БЕЗ СТЕЗИ

Через два часа мужчина проснулся. Сел на диване, потёр лицо. Посмотрел вокруг — и улыбнулся. Улыбка была спокойная, расслабленная, как у человека, который наконец-то выспался.

— Я, кажется, уснул.— сказал он.

— Уснули.

— Давно?

— Часа два.

— Два часа... — мужчина покачал головой. — Как будто заново родился. Что я говорил?

— Говорили, что машина не заводится.

— Ах да! — мужчина вскочил, хлопнул себя по карманам.
— «Вольво». Фура. Стоит там...

Он вышел из гаража. Горын — за ним. Машина стояла у обочины, серая, пыльная, с налипшей на колёса глиной. Горын открыл капот, повозился в проводах.

— Заводи, — сказал.

Мужчина сел за руль, повернул ключ. Двигатель схватил с пол-оборота, зарокотал ровно, уверенно.

— Спасибо! — мужчина высунулся из окна. — Сколько с меня?

— Да так, — Горын махнул рукой. — Заезжай, если что.

— Заеду! Обязательно заеду!

Мужчина улыбнулся, дал газу, и фура тронулась, оставляя за собой облачко сизого дыма. Горын смотрел вслед, пока машина не скрылась за поворотом. Потом вернулся в гараж.

Сел на табурет. Посмотрел на диван, где ещё хранилось тепло спящего человека. На стакан с недопитым чаем. На ключи, разложенные в строгом порядке.

Ворон на балке заворочался, сунул голову под крыло.

— Кхудо, — пробормотал он сквозь перья. — Кочень кхудо.

— Что-то изменилось, — произнёс Горын. — В мире. В людях.

Он не знал — что. Но чувствовал: это только начало.

— Я тебе не рассказывал, — заговорил ворон, — кно у меня был дар.

— Какой дар? — спросил Горын.

— Я — стежник. Из ркода Стежников. Мы водим кпо

стежам снов. Мой отец водил. А котец отца тоже водил.

Горын нахмурился. Поднял голову, посмотрел внимательно-нее.

— Подожди. Как это ты из рода Стежников?

— Кда, кстежник, — сказал ворон. В его картавом голосе прозвучала гордость.

— Но ведь стежники обычно были насекомыми? — Горын даже привстал с табурета. — Мотыльки, стрекозы, какие-то мелкие жучки. Поэтому они могли легко забраться на плечо человеку, устроиться у плеча — и отправить разум в путешествие. Я встречал таких. Давно.

Ворон кивнул. Кивок вышел важный, почти царственный.

— Кбыло так. Стежники-насекомые. Много веков. Кно их потравили. Люди стали бояться жуков, мотыльков, всей этой летающей мелочи. Химия. И дар угасал.

— А ты?

— А я — новое. В последние десятилетия дар проснулся у пернатых. У воронов, галок, соек. Видно, пришло время.

Ккрылья есть, глаза острые, на плечо сесть можно. И люди нас не травят. Пока.

Горын покачал головой. Усмехнулся.

— Век живи — век удивляйся. Стежник-ворон. Кто бы мог подумать.

— Вот такой я особенный, — каркнул ворон и одернул крыло. — Ккстати, Горын. Ты заметил, что я сейчас меньше ккартавлю?

Горын прислушался. Действительно, ворон говорил чище. Та странная гортанная тягучесть никуда не делась, но стала мягче, словно кто-то приглушил её.

— Заметил.

— Горло разогрелось, — сказал ворон. — Ккогда много говорю, ккартавлю меньше. А молчу — опять начинаю. Так что если хочешь меня понять — заставляй кговорить.

— Буду знать, — усмехнулся Горын. — Так что там с даром?

— Кесть две стези, — сказал ворон. — Кпервая — общая,

по ней плывут все сны из мира людей в Приграничье и наоборот. Если я квхожу в неё один, я вижу чужие сны — обрывки, ккошмары, всё, что плывёт мимо. А есть личная стезя человека. Она ведёт в его ксобственный сон. Чтобы войти в неё, я кдолжен сидеть на его плече, ккогда он спит. Тогда я могу вести его разум туда, где кнет боли.

Я ккделал это много лет. Садился к бездомным, ккогда они спали. Закрывал глаза, видел стезю — их сон, кпамять, боль. И вёл туда, где нет кболи. В поля, в детство, в дом, ккоторый помнится.

— А потом?

— А кпотом в один день сел на плечо к одной женщине под мостом. Кзакрыв глаза. Увидел стезю. Повёл. А когда очнулся — ккот напал на меня. Дранный, злой. Я кполетел но он успел вцепиться в лапу. Я рванулся, ударил ккрылом, он свалился, но лапу успел кпорвать. Сухожилие перебил. С тех пор она и не сгибается.

— Ты не заметил его?

— Я кбыл в стезе. Я весь там, с тем, кого вожу. А тело моё здесь. Кбеспомощное. Ккот это учуял. И напал когда я вышел из стези. Кпока я сидел без движения, он не трогал,

а ккогда зашевелился — тот и напал, зверюга.

— И после этого ты боишься быть стежником?

— Кбоюсь. Стоит мне закрыть глаза — я снова там. Слышу его рык. Чувствую, как он рвёт лапу. Стезя исчезает. Остаётся только страх. А стежник без стези — не кстежник.

— Ты потерял не стезю, — сказал Горын. — Ты потерял веру, что можешь вести.

— Кэто одно и то же.

— Нет. Стезя у тебя есть. Я видел, как ты вчера сидел на крыше, смотрел на закат и шевелил крыльями. Ты видел что-то. Что?

Ворон молчал. Долго. Потом сказал тихо:

— Я видел ксны. Много. Они перепутались. Людям кстрашно.

— Ты мог бы их повести.

— Кне могу. Стоит закрыть глаза — ккот.

— А если я буду рядом? — спросил Горын. — Если я по-стерегу твоё тело, пока ты ведёшь?

Ворон посмотрел на него. Долго. В его глазах была тоска.

— Я не знаю, — сказал он. — Я не кпробовал давно.

— Может, пора попробовать.

— Ккак-нибудь в другой раз.

Горын усмехнулся.

Ворон фыркнул. Но не улетел. Сидел.

Он был маленькое, тёплое, живое существо, которое когда-то было стежником, а теперь просто сидело рядом.

Горын протянул руку, коснулся вороньего крыла. Перья были сухие, тёплые, живые.

— Спасибо, — сказал он.

— Кза что? — каркнул ворон.

— За то, что со мной.

БАБУШКИ

На улице Рыленкова было холодно, но сухо. Двор вычистили — асфальт чёрный, только на газонах и крышах белел недавний снег. У подъезда, привалившись к перилам, стояли три бабки — как три вороны на проводах. В одинаково повязанных платках, с одинаковыми авоськами и одинаково недовольными лицами. Встретились, разговорились — расходиться не хотелось.

— А я говорю, Марь Иванна, пенсию опять не повысили, — тянула одна, с красным платком и острым носом. — А цены — во! Курица — четыреста рублей. Четыреста, вы представляете?

— Да что вы с этой курицей, Пална, — перебила вторая, в зелёном платке. — Вы на бензин посмотрите. Мой внук на заправку заехал — тысячу оставил. Тысячу! Я на эти деньги месяц жила когда-то.

— Месяц, Петровна? — усмехнулась третья, в синем платке. — Да я на тыщу год жила. При Брежнев. Эх, Брежнев, — она закатила глаза.

— Вы что, забыли, как очереди стояли? — буркнула Пална.

— Очереди? — Петровна оживилась. — А сейчас не очереди? Я в поликлинику записываюсь — талон на две недели. Это что, не очередь?

— А в магазинах? — подхватила Марь Иванна. — Пришла за... Пришла...

— За чем ты пришла, Марь Иванна? — перебила Пална.

— Забыла, — призналась Марь Иванна. — Но точно за чем-то.

Бабки засмеялись, затем горестно вздохнули, помолчали, глядя в серое ноябрьское небо.

В это время во дворе появилась Света. Она выкатила из подъезда свой розовый велосипед. Снег на асфальте не держался — дворники постарались. Света села, оттолкнулась, проехала круг. Потом ещё круг. Потом вдруг остановилась, слезла, нагнулась к педали.

Педаль болталась. Открутилась.

Света поставила велосипед на подножку, попробовала закрутить гайку пальцами — не лезло. Нужен ключ. Или кто-то, у кого есть ключ.

Она задумчиво постояла, почесала затылок.

— Что, внучка, беда? — окликнула её Пална. Голос был сварливый, но глаза уже подобрели.

— Педаль сломалась, — вздохнула Света.

— Ох ты горе-то какое, — Петровна заохала. — А велосипед новый? Подарок?

— Мама купила. С рук. Он старый.

— Старый — не старый, а ездить можно, — сказала Марь Иванна. — Ты, внучка, иди к деду Егору. Он там в гаражах. Механик. Он всё чинит.

— Всем помогает, — добавила Пална. — Мне утюг починил. Третий год работает. А я ему — яиц с рынка передала.

— А мне чайник, — подхватила Петровна. — Заварку попросил. Липовую. Я и дала. Говорит липу любит — страсть как.

— А мне зонт, — сказала Марь Иванна. — Он мастер на все руки, дед Егор. Добрый.

— Только ворон у него, — поморщилась Пална. — Я раз зашла, а он на балке сидит, смотрит. И как каркнет! Я чуть сама не каркнула.

— Да что ты на птицу взъелась, Пална? — отмахнулась Петровна. — Птица как птица.

— Птица, а смотрит как человек, — не сдавалась Пална. — С подозрением.

Света слушала бабок, смотрела на болтающуюся педаль.

— А у меня денег нет, — сказала озадаченно Света.

Бабки переглянулись.

— Деньги? — Пална аж поперхнулась. — Да он за спасибо чинит. Утюг починил — я ему спасибо сказала и яиц дала.

— А мне чайник — за пачку чая, — кивнула Петровна.

— А мне зонт — просто так, — добавила Марь Иванна.

— Внучка, ты иди. Не бойся. Дед Егор хороший.

Света кивнула, взяла велосипед за руль, но на секунду задержалась.

— Спасибо, бабушки, — сказала она.

Все три бабки расплылись в улыбках. Даже Пална, самая сварливая, даже она смягчилась — морщины разгладились, глаза заблестели.

— Иди, иди, внучка, — сказала она уже совсем другим голосом, тёплым, почти ласковым. — Он тебе поможет.

Света улыбнулась в ответ и потащила велосипед к гаражам.

Бабки смотрели ей вслед.

— Хорошая девочка, — сказала Пална.

— Вежливая, — добавила Петровна.

— И спасибо сказала, — Марь Иванна покачала головой.
— А нынешние даже не здороваются. Бегут, наушники в ушах, и хоть бы что.

— Только велосипед старый, — вздохнула Пална. — Починит дед Егор. Починит.

ГЛАВА 3. СВЕТА

СЕРЫЙ НАЛЁТ

Горын перебирал карбюратор — старенький «Солекс» с тягой дроссельной заслонки, замотанной синей изолентой. Дело было привычное, почти медитативное: вынуть, разобрать, продуть, собрать. Пальцы работали сами, а мысли бродили где-то далеко — там, где люди перестали видеть сны, где мир становился пустым, а дыра в груди Горына ширилась, требуя всё новой пищи.

Горын не услышал, как открылись ворота.

Не услышал шагов.

Услышал только голос — тонкий, звонкий, какой бывает у детей, которые ещё не научились бояться мира, но уже знают, что он не всегда добрый.

— Дядя, а вы чините?

Он поднял голову.

В проёме ворот стояла девочка. Маленькая — лет семи-восьми, не больше. В руках держала велосипед. Розовый, с пластиковой корзинкой на руле и сломанным звонком. Велосипед был ей великоват, и она держала его за руль, наклонив набок, как взрослые носят тяжёлые сумки. На ней было синее пальто не по погоде, капюшон сбился набок, из-под него выбивались светлые волосы, тонкие, как солома.

Но не велосипед приковал взгляд Горына. Не девочка. А то, что вокруг неё.

Он увидел это сразу — налёт. Серый, липкий, тянущийся от висков к затылку, от затылка — на плечи, с плеч — вниз, к груди. Как паутина. Как плесень. Как что-то живое, что въелось в неё, вросло, вплелось в самую основу.

Не простые детские страхи, которые проходят с возрастом. Не те, что можно забрать одним движением руки, как сухой лист с плеча. Эти были глубокими. Они шли откуда-то изнутри, из самого центра, где живёт то, что люди называют душой. Они вплелись в её психику, срослись с ней, стали её частью. Такое забирать было нельзя. Такое можно было только вырывать с корнем, а корни уходили туда, куда Горын не имел права заглядывать.

— Чиню, — сказал он. Голос прозвучал ровно, хотя внутри дрогнуло. — Заходи.

Девочка зашла. Поставила велосипед у двери, огляделась. Взгляд её — ясный, внимательный, недетский — скользнул по верстаку, по ключам, по будильнику, задержался на вороне.

— А это настоящий? — спросила она.

— Настоящий. Только старый. Как я.

— Вороны не живут в гаражах.

— Этот живёт. У него лапа сухая. Летать тяжело. Вот и осел.

Девочка кивнула, принимая логику. Села на табурет, подвинутый Горыном, и замолчала. Сложила руки на коленях, смотрела прямо, не моргая. В семь лет так не сидят. В семь лет ёрзают, крутятся, трогают всё вокруг. А она сидела, как маленькая статуя, и только серая дымка вокруг головы не исчезала.

— Велосипед, — сказал Горын, чтобы что-то сказать. —

Педадь?

— Педадь болтається. И звонок не звонит.

— Звонок я починю. Педадь — тоже. Ты посиди, чай попьёшь?

— А чай с чем?

— С липой. И мёд есть.

— Я люблю мёд, — оживилась девочка.

Горын поставил чайник. Пока грелась вода, он занялся велосипедом. Педадь была в порядке, просто слетела гайка, звонок тоже был жив, просто заела пружинка. Ему нужно было время. Время, чтобы понять, что он видит.

Он посмотрел на девочку краем глаза. Серый налёт становился гуще, когда она моргала. С каждым морганием налипал новый слой, как иней на стекло. Паутина росла. Прямо здесь, прямо сейчас. Она пришла к нему не за велосипедом. Она пришла, потому что чувствовала — здесь безопасно.

— Как тебя зовут? — спросил Горын, разливая чай.

— Света. А вас?

— Егор. Можно — дед Егор.

— Дед Егор, — повторила она, пробуя имя на вкус. — А зачем вам ворон?

— Я же говорю — живёт.

— А почему он не улетает?

— Куда ж ему лететь? Мы с ним старые, я здесь прижился, и он.

— Вы не старый, — сказала Света серьёзно.

Он промолчал. Пододвинул ей стакан с чаем. Света взяла обеими руками, подула, отхлебнула.

— Вкусно, — сказала она и улыбнулась. — А можно мне ещё мёда в чай?

— Можно. — Улыбнулся Егор.

Он положил ещё ложку мёда в её стакан. Она размешала, отхлебнула — и вдруг, не дожидаясь вопросов, начала гово-

ритель.

Она говорила быстро, как будто боялась, что её перебьют. Говорила о том, что у неё нет папы. Что мама работает бухгалтером и приходит поздно. А потом — о школе.

— Они говорят, что я странная, — Света смотрела в стакан, не поднимая глаз. — Что я всё время молчу. Что у меня нет друзей. Это правда. Я не умею дружить. Я боюсь.

Она замолчала, покрутила стакан в руках. Потом продолжила — тише, глуше, словно рассказывала не Горыну, а самой себе.

— Есть одна девочка. Лера. Она самая красивая в классе. У неё длинные волосы. Лера говорит, что я похожа на мышь. Серую мышь. И все смеются. Я не хожу в школьную столовую, потому что Лера садится за мой стол и говорит: «Мышам тут не место». А однажды она спрятала мой рюкзак в туалете. Я искала его весь урок, а когда нашла, он был мокрый. Она сказала, что это случайно. Учительница сказала: «Света, не придумывай, Лера хорошая девочка». А я не придумываю. Я просто не могу ничего сказать. У меня голос пропадает. Вот как сейчас — я могу с вами говорить, а там не могу. Там я просто стою и молчу. И все смотрят.

Она подняла глаза. В них стояли слёзы, но она не плакала.

Каждый день иду в школу и думаю: «Может, сегодня не будут? Может, забудут про меня?» Но они не забывают. Они всегда помнят. И я боюсь. Очень боюсь.

Горын слушал. И с каждым её словом видел, как серый налёт вокруг её головы пульсирует, сгущается, темнеет. Это были не просто детские обиды. Это была тьма, которая росла в ней с каждым днём, с каждым словом, с каждым смешком за спиной. Она впитывала её, как губка, и не могла выплеснуть. А тьма копилась. И требовала выхода.

— А ночью, — продолжала Света, — мне снится школа. Пустая. Я иду по коридору, а за мной кто-то идёт. Я не вижу кто, но знаю — это они. Я бегу, а коридор не кончается. И двери все закрыты. Я кричу, а голоса нет. И я просыпаюсь. И простыни мокрые. Мама говорит: «Это ты вспотела».

Она замолчала. Поставила стакан на верстак. Сложила руки на коленях, как примерная ученица.

— Я не хочу больше бояться, — сказала она тихо. — Я хочу быть как все. Хочу, чтобы меня не трогали. Хочу спать и не видеть этот коридор.

Горын смотрел на неё. На её тонкие руки, обхватившие стакан. На светлые волосы, выбившиеся из-под капюшона. На серый налёт, который клубился вокруг её головы, пульсировал, жил своей жизнью. Она была ребёнком. Маленьким, испуганным ребёнком, который пришёл к чужому старику в гараж, потому что больше идти было некуда.

И вдруг он почувствовал. В груди. Слева, там, где у людей бьётся сердце.

Оно сжалось.

Как будто кто-то взял его сердце в ладонь и осторожно, но крепко сжал. Стало тесно. Стало больно. Но боль была не режущей, не острой — она была тёплой. Странной. Незнакомой.

Горын замер. Прислушался к себе. Нечто новое. Чему он не мог найти названия.

Он посмотрел на Свету. На её глаза, полные слёз, которые она изо всех сил сдерживала. На её губы, сжатые в тонкую полоску. На её плечи, опущенные, как у старушки. И сердце сжалось снова. Сильнее.

«Что это?» — подумал он.

Ответа не было.

Жалость. Не та, когда смотришь свысока. А та, когда чувствуешь чужую боль как свою. Когда хочешь забрать её — не потому что голоден, а потому что не можешь видеть, как страдает другой.

Но тогда, в тот миг, он не знал этого слова. Он просто чувствовал: надо что-то сделать.

— Вы можете мне помочь? — спросила Света. Посмотрела на него прямо, и в глазах её не было надежды. Был только вопрос. Взрослый, тяжёлый вопрос от семилетней, которая уже поняла, что мир не обязан быть справедливым, но всё ещё верит в это.

Горын молчал долго. Так долго, что Света допила чай, поставила стакан на верстак и стала смотреть на ворона — тот, повернув голову, одним глазом следил за происходящим.

— Не могу, — сказал наконец Горын. Сказал это себе, но прозвучало так, будто оправдывается перед ней.

— Чего не можете? — спросила Света.

— Сны. Я не могу забрать твои сны. Они слишком глубокие. Если я попробую, я могу... — Он запнулся. — Сделать хуже.

Света кивнула. Не удивилась, не расстроилась. Просто кивнула, как будто ожидала этого ответа.

— А что вы можете? — спросила она.

Горын посмотрел на неё. На серый налёт, который клубился вокруг её головы, на тёмные круги под глазами. В её взгляде - ожидание и доверие. Она была ребёнком. Ребёнком, который не спал, потому что боялся того, что ждёт его во сне. И Горын вдруг понял, что если он сейчас ничего не сделает — она сломается. Не сегодня, не завтра, но скоро. Тьма, которая нашла её, будет расти, пока не заполнит всё. Ей нужна защита.

Он мог бы забрать её сны целиком. Обнулить. Сделать так, чтобы она ничего не помнила — ни кошмаров, ни страха. Но если он обнулит её, она потеряет часть себя. Ту самую, которая ещё умела чувствовать. Которая была живой.

Он не мог этого сделать.

Но он мог ОТДАТЬ.

Горын поднялся. Подошёл к ней, опустился на корточки, чтобы быть на одном уровне. Посмотрел в глаза. В них, серых, наивных, покрасневших от недосыпа, он увидел себя. Не того, кем он был сейчас. Того, кем он был когда-то, до имён, до памяти, до этого гаража.

Протянул руку.

— Можно? — спросил он.

Света кивнула.

Горын провёл рукой по её голове — по росту волос. И мир взорвался светом — золотистым, тёплым, как свежий мёд на солнце. Свет хлынул из ладони, залил гараж, вытеснил тени, заставил старые железки блестеть, как новые. Ворон на балке распахнул крылья. Будильник звякнул — не как обычно, а звонко, празднично, будто маленький колокол. А потом стало тихо. Свет ушёл. Осталась только девочка — светящаяся изнутри.

Он ОТДАЛ.

Силу, что копилась в нём тысячелетиями. Радость, которую он носил в себе, даже когда мир вокруг становился пу-

стым. Способность согреваться, чувствовать тепло, видеть в мире свет.

Боль — осталась. Тревога — осталась. Голод — остался. И память — вся, до последнего вздоха Готлиба и Егора. Он стал холодным внутри. Не пустым — холодным. Как пепел, в котором ещё тлеют угли, но огня уже нет.

Света закрыла глаза. Выдохнула. И улыбнулась.

Улыбка была такая, какой Горын не видел много лет. В ней было всё: лето, река, дом, мама, приходящая с работы и целующая в щёку, тёплый мелкий дождь на ярком солнце. В ней была жизнь. Настоящая, живая, невыдуманная.

— Хорошо, — прошептала Света.

Она уснула. Прямо на табурете, положив голову на сложенные на верстаке руки. Уснула легко, без страха. Впервые за долгие ночи.

Горын сидел рядом, смотрел на неё и чувствовал, как внутри что-то обрывается.

Поднялся. Руки дрожали. Подошёл к верстаку, хотел взять стакан с чаем, но пальцы не слушались — стакан упал,

разбился, осколки разлетелись по бетонному полу.

Ворон слетел с балки. Тяжело каркнул, сел на край верстака, склонил голову.

— Кчто ты наделал, старый? — В голосе не было насмешки. Страх. — Кчто ты наделал?

— Я должен был, — сказал Горын.

— Кты кне должен был. Кты кне мог. Кты теперь... — ворон замолчал. — Ккто ты теперь?

Горын не ответил. Он смотрел на спящую девочку. На её спокойное лицо. На улыбку, которая не сходила с губ даже во сне.

— Человек, — сказал он. — Я теперь человек.

— Кчеловек спит, — картаво проскрипел ворон. — Кты не спишь.

Света проснулась. Потянулась, улыбнулась, посмотрела на Горына ясными глазами.

— Деда Егор, — сказала она. — А велосипед?

— Починил, — сказал Горын. Голос оставался ровным, хотя внутри всё кричало. — Педаль на месте. Звонок звонит.

— Спасибо, — Света встала, взяла велосипед за руль. — Я пойду. Мама волнуется.

— Иди.

Она уже выходила из ворот, когда обернулась.

— Деда Егор, а можно я ещё приду?

Горын посмотрел на неё. На светлые волосы, на синее пальто, на велосипед с пластиковой корзинкой. На серый налёт — он не исчез. Он стал меньше, тоньше, но не исчез. Он отдал ей радость, но кошмары остались. Они отступили — но не ушли.

— Приходи, — сказал Горын. — Будем пить чай с бутербродами.

Света улыбнулась, села на велосипед и покатила по улице Рыленкова, смешно выворачивая колени, потому что велосипед был ей великоват. Горын смотрел ей вслед, пока она не скрылась за поворотом.

Вернулся в гараж.

Сел на табурет. Посмотрел на ключи, ждущие порядка.

Он не сделал ничего. Сидел и смотрел в одну точку. Дыра в груди ширилась, росла, заполняла всё пространство. Голод, знакомый прежде, был ничем по сравнению с этим. Раньше это был голод, теперь он стал Гладом.

Раньше голод был тихим. Фоновым. Горын мог работать, говорить — голод не мешал. Он был инструментом: приходил, когда нужно было взять чужую боль, и уходил, когда боль переваривалась.

Теперь голод не уходил никогда.

Раньше он мог не брать. Просто не брать. Это не требовало усилий. Теперь, чтобы не взять, он должен бороться. Каждый раз, когда рядом человек со снами, Глад рвётся наружу. Держать его — стоит титанических усилий.

Больше никаких частей.

До этого Егор брал ровно столько, сколько нужно: крупинку тревоги, чуть-чуть страха, немного бессонницы. Теперь

— только всё. Или ничего. Потому что радости нет, перева-
ривать нечем. Если он берёт — он обнуляет. Полностью. Че-
ловек становится пустым.

Ворон сидел на балке, смотрел на него одним глазом и молчал. Даже он не знал, что сказать.

— Готлиб Шлафер, 1943, — прошептал Горын, глядя на будильник. — Зачем я это сделал?

Горын закрыл глаза. Не спал. Никогда не спал.

Но сейчас он впервые пожалел об этом.

Будильник молчал. И больше уже не звонил.

МАМИН ЗВОНОК

Света влетела в квартиру ураганом. Синее пальто нарас-
пашку, шапка съехала набок, щёки красные — то ли от мо-
роза, то ли от радости.

— Мам! Мам! Ты не представляешь! — крикнула она —
Деда Егор починил велосипед! Педаль теперь не болтается,

а звонок — слушай!

Она нажала на звонок. Раздался тонкий, звонкий «дзынь-дзынь».

— Света, тише, — сказала Ева, выходя из кухни.

— А он ещё и чаем напоил! С липой и мёдом! — Света кружилась по коридору, вся светилась. — И ворон у него настоящий!

Ева смотрела на дочь и не узнавала её. Обычно после школы Света была тихой, задумчивой, иногда раздражительной. Круги под глазами, вялость, постоянное «не хочу». А сейчас — вся светилась, щёки горят, глаза блестят. Настоящий ребёнок, а не бледная тень.

— Света, — перебила Ева. Голос звучал мягче, но тревога никуда не делась. — Ты одна ходила в какой-то гараж? К незнакомому мужчине?

— Мы познакомились! Он деда Егор! Он старый! И добрый! И всем помогает! Бабушки у подъезда сказали, он им утюги чинит и чайники.

— Бабушки у подъезда, — вздохнула Ева. — Света, ты не

можешь просто так заходить к чужим людям. Мало ли кто там...

— Он не «кто там»! — Света надулась. — Он механик. И он мне велосипед починил. Бесплатно!

Ева помолчала. Посмотрела на дочь — на её светлое лицо, на эту неожиданную радость, которой не было уже много месяцев. И всё равно боялась.

— Позвоню тётё Гале. Спрошу про твоего деда Егора.

Ева взяла телефон, отошла к окну. Набрала номер. В трубке долго не отвечали, потом раздался голос:

— Алло. Привет, Ева.

— Привет, тётя Галя. Ты не знаешь старика в гараже на улице Рыленкова? Механика. Егора.

— А-а-а, Горын? — голос в трубке сразу потеплел. — Знаю, конечно. Он всем в округе технику чинит. Мне утюг починил, третий год работает. Два дня возился, а взял — копейки. Сказал: «С пенсионеров много не беру, у них и так денег нет». Вот это человек.

— А он... безопасный? — тихо спросила Ева, чтобы Света не слышала. — Света к нему ходила, велосипед чинил.

— Ой, Ева, не бойся, — засмеялась тётя Галя. — Он для детей не опаснее бабы Нюры из второго подъезда. Спокойный, воспитанный. У нас все соседи его знают. Хороший человек.

— Хорошо, — тихо сказала Ева, глядя на дочь.

— А ты номер его запиши, — добавила тётя Галя. — У меня в блокноте записан. Сейчас, погоди...

В трубке зашуршали страницы. Тётя Галя что-то бормотала себе под нос, перелистывала, причмокивала.

— Вот, значит... восемь, сорок восемь, одиннадцать... — продолжала тётя Галя. — Тридцать пять... сорок семь... девятнадцать. Записала?

Ева нашла на тумбочке клочок бумаги, торопливо нацарапала карандашом цифры.

— Записала, тёть Галь. Спасибо.

— Пожалуйста, Ева. Ты Свету береги. А к деду Егору хо-

дите, не бойтесь. Он хороший.

— Спасибо, — повторила Ева и положила трубку.

Она убрала телефон в карман и подошла к окну. За стеклом был серый смоленский двор — качели, песочница, параскамеек. Всё родное, привычное — но скоро они уедут. В Ярославль.

Ей предложили место главного бухгалтера в большой строительной компании. Там, в Ярославле. Хорошая зарплата, соцпакет, перспективы. В Смоленске таких вакансий не было. Она думала несколько дней, советовалась с мамой, даже со Светой — хотя что она понимает в свои семь лет? Света сказала: «Поехали, мам. Там, может, школа лучше». И Ева согласилась.

Не потому, что хотела уезжать. Потому что надо было. Одной тянуть ребёнка в Смоленске становилось всё тяжелее. Работы мало, денег не хватало. А тут — шанс. Настоящий. Она не могла его упустить.

Посмотрела на бумажку с номером. Потом достала телефон, открыла контакты и записала цифры. Добавила: «Дед Егор Механик». Нажала «сохранить».

ГЛАВА 4. БОЛЕЗНЬ МИРА

БУТЕРБРОД

Прошла неделя. А может, две. Горын сбился со счёта — после того, как отдал Свете свою радость, время потеряло для него значение.

Вздыхнув, достал из-под верстака пакет — сегодняшний завтрак, так и не съеденный утром. Хлеб, нарезанный ровными ломтями — он любил, чтобы всё было аккуратно, без кривых краёв. Колбаса — кружочками, сыр — треугольниками. Всё лежало в пакете слоями, как в чертеже: хлеб, колбаса, сыр, снова хлеб. Порядок.

Горын поставил пакет на стол, налил себе чай. Липовый, горячий, с мёдом. Повернулся за кружкой — и задел пакет локтем.

Пакет опрокинулся.

Хлеб, колбаса, сыр — всё веером разлетелось по полу. Аккуратные ломти перемешались с пылью, стружками и пятнами машинного масла. Порядок рассыпался в хаос.

Горын замер. Секунду смотрел на катастрофу.

Ворон, дремавший на балке, мгновенно проснулся. Глаз его блеснул хищным светом.

Горын моргнуть не успел. Ворон уже хозяйничал на полу: схватил клювом кусок колбасы, перекинул его на ломоть хлеба, сверху водрузил треугольник сыра. Быстро, как заправский повар на кухне ресторана. Потом подхватил клювом ещё один кусок хлеба, придавил им эту конструкцию — получившийся бутерброд еле помещался в вороньем клюве.

Ворон взлетел — тяжело, с перегрузом, но гордо. Устроился на балке, отдышался. Потом издал довольный звук — не карканье даже, а что-то среднее между кудахтаньем и смехом.

— Кхе-кхе.

Горын смотрел на эту картину. На бардак на полу, на торжествующую птицу на балке, на бутерброд, который ворон явно собирался съесть с видом короля.

— Я смотрю, ты клювом не щёлкаешь, — сказал Горын.

— Кхе-кхе, — повторил ворон, смакуя триумф.

— Мог бы и подождать. Я и на тебя брал. Как всегда.

Ворон скосил глаз, посмотрел на Горына. В его взгляде не было ни капли раскаяния. Только сытое довольство.

— Ккизвини, — сказал он. — Кпривычка. — Кя — кворон. Кнаша привычка — кбыть там, кгде еда. Кэто инстинкт.

— Инстинкт, — вздохнул Горын. — А у меня, значит, привычка раскладывать ключи в строгом порядке. И кормить нахлебников, что потом смываются с бутербродом на балку.

— Кты меня не ккормишь, — возразил ворон, отщипывая кусочек сыра. — Кя сам ем.

— Сам ешь, — покачал головой Горын. — Грабёж среди бела дня.

— Кграбёж — это ккогда со взломом. Ворон скосил глаз. — А я квламывал? Кты сам уронил. Кя только воспользовался.

Горын посмотрел на пол. На разбросанные ломти хлеба, на кружочки колбасы, уже припорошённые пылью. Вздохнул, достал метлу и совок.

— Ладно. Ешь. Всё равно убирать.

— Кспасибо, — донеслось с балки. — Кты хороший человек. Кдля кчудовища.

— Заткнись и жуй, — буркнул Горын, подметая пол.

Ворон замолчал. Только изредка издавал сытое «кхе-кхе», наблюдая, как Горын собирает рассыпанный хлеб и выкидывает его в мусорное ведро.

— Кжалко, — сказал ворон, проглотив последний кусок.
— Кхороший был кбутерброд.

— Следующий раз будет с мышьяком, — пообещал Горын.

— Кне поверю, — усмехнулся ворон. — Кты жадный. Кне будешь деньги на кмышьяк тратить.

Несмотря на всё, Егор не злился. Ворон был единственным существом в этом гараже, что было почти всегда с ним. Что воровало его еду, картавило, философствовало и вообще вело себя так, будто гараж принадлежал ему, а Горын — так, приложение к банке с мёдом.

— Доел? — спросил Горын, ставя метлу в угол.

— Кдоел.

— Тогда не мешай. Я телевизор включу.

— Квключай, — сказал ворон, устраиваясь поудобнее на балке. — Кя кпосмотрю. Кпро кновости. — Кя — кинтеллигентная птица.

— Интеллигентная, — повторил Горын, садясь на табурет и нажимая кнопку на пульте. — Которая только что спёрла бутерброд у старика.

— Кинтеллигенция тоже кесть хочет, — парировал ворон. — Кэто не кпреступление.

ТЕЛЕВИЗОР

Горын покачал головой и уставился в экран.

Телевизор моргнул, загорелся. Диктор с идеальной укладкой и мёртвыми глазами сообщала:

«...эпидемия бессонницы продолжает охватывать новые

регионы. Врачи связывают это с хроническим стрессом, увеличением времени перед экранами и последствиями новых вирусов. Продажи снотворных препаратов выросли в три раза по сравнению с прошлым годом. Но не переживайте, всё будет хорошо. Мы справимся. Главное — не паниковать и верить в лучшее...»

— Кчё за кчушь? — каркнул ворон.

— Не понял, — сказал Горын.

— Кя про это, — ворон махнул крылом в сторону телевизора. — Раньше ввали, что всё хорошо. Теперь врут, что всё плохо, но будет хорошо. А разница? Врут всё равно.

Горын усмехнулся.

— Опять философствуешь.

— Кпереключи, — сказал ворон. — Ксейчас опять будет креклама.

Горын переключил канал. Открылась трансляция из зала заседаний. На трибуне стоял депутат — грузный, с красным лицом и папкой в руках.

«...я считаю, что бессонница — это результат недостаточной физической активности. Надо запретить лифты в жилых домах. Пусть люди ходят пешком. Устанут — будут спать...»

— Кчего? — ворон вытаращил глаз. — Клифты запретить? Ка он сам на кдесятый этаж пешком ходить кбудет? Ккому нужны такие законы?

— Не знаю, — Горын переключил снова.

Другой канал. Другая трансляция. Худощавый мужчина с умным лицом и дорогим галстуком потрясал бумажкой.

«...специальная добавка „Сонный дракон“. Уникальная формула на основе экстракта сибирской лиственницы. Восстанавливает структуру сна за семь дней. Тысячи положительных отзывов...»

Ворон вздохнул.

— Квидишь? Сначала люди перестали кспать, потом кто-то продал им ктаблетки. Квыгодно.

— А если таблетки помогают?

— Кпомогают? — ворон склонил голову. — Кты лучше

знаешь. Ксколько людей к тебе пришло после этих ктаблеток?

Горын промолчал. Ворон был прав. За последние годы к нему приходили те, кому таблетки не помогли. Или помогли, но ненадолго.

— Кони не лечат, — сказал ворон. — Кони заклеивают кдыру. Ккак скотчем. День кдержится, два, а потом всё равно крвётся.

Горын переключил канал. Попал на ток-шоу. Две женщины в дорогих костюмах о чём-то спорили, перебивая друг друга. Ведущий с такой же идеальной укладкой улыбался в камеру.

«...я вам говорю, надо больше спать!»

«...а я вам говорю, что сон — это не главное! Главное — позитивное мышление!»

«...вы ничего не понимаете!»

«...это вы ничего не понимаете!»

— Квыключи, — сказал ворон. — Квсё равно ничего умного не скажут.

— А что умное можно сказать в телевизоре?

— Кничего, — ворон дёрнул сухой лапой. — Кпотому что умное не кпродаётся. Кумное заставляет думать. Ка думать — это риск. Квдруг человек поймёт, что его кобманывают? Ктогда он перестанет бояться, ка перестанет бояться — кперестанет покупать. Кникому это не нужно.

Горын посмотрел на ворона. Тот сидел на балке, взъерошенный, картавый, с сухой лапой, что никогда не сгибалась.

— Ты бы пошёл в политику, — сказал Горын.

— Кзачем? — ворон каркнул. — Кчтобы меня такие же вороны ксклевали заживо? Кнет, спасибо. — Кя лучше в гараже. Ктут хоть кколбаска бывает.

ГЛАВА 5. ВОСПОМИНАНИЯ

ДРЁМА

Горын закрыл глаза. Не для того, чтобы уснуть — он никогда не спал. А для того, чтобы вспомнить. Не Егора, не Готлиба — себя. Того, кем он был до них. До имён, до памяти, до этого гаража.

Он был Дрёмой.

Древним духом из мира Забытых. Он не помнил, когда появился. Может быть, тогда же, когда первые люди увидели сны. Может быть, раньше. Время для него не имело значения. Он просто был.

У него не было тела. Не было рук, чтобы взять, не было глаз, чтобы увидеть, не было голоса, чтобы сказать. Он был бесплотен, как туман, как дыхание на морозе. Просачивался сквозь стены, сквозь двери, сквозь закрытые веки.

Он был голодом. Не злым, не добрым — просто голодом. Чувствовал людей за версту. Не всех — только тех, в ком застаивалось сырьё. Гнилое, спёртое, не находящее выхода. Тревога, что не становилась сном. Страх, что не растворялся в Приграничье. Боль, что копилась и копилась, отравляя человека изнутри.

Дрёма приходил к таким людям ночью. Бесшумно, как дуновение. Просто был рядом. Дышал с ними в одном ритме. И гнилое сырьё само тянулось к нему, как вода к сухой земле. Он впитывал его в себя, всей своей бесплотной сутью. Оно становилось пищей. Насыщало. Давало силу.

Но чтобы переварить чужую боль, нужна была радость. Своя собственная. Без неё сырьё оставалось ядом, разъедало

изнутри. Поэтому Дрёма забирал не только гнилое. Он забирал ещё и крошечную частицу радости — ту, что человек всё равно не заметил бы. Искру от костра. Каплю из реки. Смех, забытый через миг. Радость была ключом, отпирившим чужую боль и превращавшим её в пищу.

Человек просыпался утром лёгким. Не помнил кошмаров. Не чувствовал тревоги. Сны его снова текли свободно, чисто, как должно. А Дрёма уходил. В следующий дом, к следующему спящему.

Так копил радость. Веками. Тысячелетиями. По крупнице, по искре, по капле. Не потому, что хотел — потому что так было устроено. Без радости он не мог есть. Без радости он бы захлебнулся в чужой боли.

Не знал, что такое жалость. Не знал, что такое любовь. Знал только голод и насыщение. Был частью равновесия — как ветер, что разгоняет тучи. Как туман, что впитывает звуки. Как дыхание, что согревает воздух. Просто делал то, для чего был создан.

ГОТЛИБ ШЛАФЕР

Горын поднялся, подошёл к верстаку. Ключи лежали в строгом порядке. Он поправил большой ключ. Ритуал. Бес-

смысленный ритуал, державший его на плаву. Но сегодня он не принёс облегчения.

Он отодвинул ключи, достал из-под верстака коробку. Старая, из-под импортных запчастей, с облупившейся краской. В коробке лежали фотографии. Он редко их пересматривал. Но сегодня ему нужно было вспомнить.

Фотографии лежали перед ним, и память, носимая долгие годы в глубине, вдруг ожила, задышала, заговорила чужими голосами.

Словно туман, воспоминания стали подниматься из глубин сознания. Чужие, но ставшие своими.

Он — Готлиб Шлафер. Родился в 1903 году в Смоленске, хотя фамилия немецкая. Дед приехал из Саксонии ещё при Александре Втором, ставил заводы. Отец работал на паровозном, тоже механиком. Немецкого Готлиб почти не знал — только несколько слов, что дед бормотал, когда сердился.

Завод имени Калинина. Цех сборки. Он там с семнадцати лет. Руки привыкли к железу, к гайкам, к точности. Начальство ценило: если Шлафер собрал — можно не проверять.

Выплыли детские воспоминания о деде.

Память пришла не картинкой — звуком.

Готлиб слышал голос деда. Старый, скрипучий, как несмазанная дверь. Дед ругался. Он всегда ругался, когда что-то не получалось. И ругался забавно — на смеси немецкого с русским, да так, что ни один немец не понял бы, а русский не разобрал.

Готлиб — тогда ещё маленький, лет пяти — сидел на полу мастерской и смотрел, как дед возится с каким-то замком. Дед пыхтел, кряхтел, стучал молотком. Замок не поддавался, и дед выпрямился, вытер лоб и выдал:

— Ах, ферфлюхтер циппель! Керри-ми-ди, такой, ниht драйет, ниht файет, што за шайзе!

Готлиб засмеялся. Дед обернулся, сверкнул глазами, но тут же улыбнулся — беззубо, добро.

— Чего смеёшься, мальчик? — спросил он уже по-русски, с акцентом, от которого «ч» звучало как «щ», а «л» — как твёрдый, немецкий «л». — Шнель, дай инструмент.

Готлиб подал. Дед взял, покрутил, снова начал чинить замок.

— Шайзе, — повторил он уже тише. — Керри-ми-ди. Как это по-русски? А, зараз такой! Вот, зараз такой! Надо говорит „Зараз такой!“, а не «шайзе». Потому что мы теперь в Россия. Русский надо говорить. А ты слушай, Готлиб, запоминать надо. Когда что-то чинить — нихт торопись. Железо торопись не любить. Надо ласка. А если не идёт — тогда ругайся надо. Но сначала ласка. Понимать?

— Понял, дед.

— Гут. — Дед снова склонился над замком, повозился ещё немного, и тот вдруг поддался. Дед выпрямился, довольно крикнул. — Зи! Готов! Гут. А ты, Готлиб, когда быть большой — механик быть. Как я. Как твой папа. У нас весь семья — механик. В Саксонии все Шлафер — механик. А мы теперь в Россия. Русский механик. Понимать?

— Понимаю.

— Гут. Иди, скажи бабка, чай готовить надо. И мёд положить пусть. Он у нас с мёд хорошо делать. Липовый. Мы в Россия липа чай пить. В Саксонии не быть такой чай. А здесь — быть. Хорошо.

ДЕДОВЫ РУГАТЕЛЬСТВА

Как ругался дед, Готлиб запомнил на всю жизнь. Потом, когда сам стал механиком, иногда ловил себя на том, что бормочет их себе под нос, если что-то не получалось. И сам удивлялся — откуда?

Дед ругался так:

Когда что-то не лезло:

— Ферфлюхтер циппель! Керри-ми-ди, дурна башка.

Когда ломалось:

— Ах, готтфердам! Шайзе, шайзе, шайзе! Ну как так, а? Русский железо, русский характер! Надо лаской, а оно — хррр! — и сломать!

Когда сам ошибался:

— Ай, дурак, дурак! Альтер дойчер дурак! Что ж ты сделать? Гляди, Готлиб, учись моя ошибка. Я уже стар, мне можно. А ты — нет. Ты быть должен умный.

Когда получалось:

— Зи! Гут! Найн, не гут — хорошо! Отлично! По-русски отлично. Мы теперь русски. У нас всё отлично. Давай чай

пить, Готлиб. С мёд, с липа.

Дед говорил на удивительной смеси. Русские слова — с твёрдым немецким акцентом, немецкие — вплетённые в русскую речь, да так, что они становились почти русскими.

Когда Готлиб вырос, он не говорил, как дед. Он выучил русский без акцента, женился на русской, стал своим. Но иногда, когда он чинил что-то сложное, когда деталь не лезла или мотор не заводился, из него вдруг вылетало:

— Ферфлюхтер...

И он замолкал, удивлённый. Дед умер давно, ещё в двадцатых. А слова остались.

Горын, сидя в гараже, иногда ловил себя на том, что бормочет эти слова. Особенно когда что-то не клеилось. И каждый раз вздрагивал — потому что это была не его память.

КАТЯ

Готлиб женился в тридцать. На Кате, русской, из ткачих. Свадьба была скромная — время тяжёлое. Жили в коммуналке на Большой Советской. Катя работала на льнокомбинате, он — в цехе.

В сорок первом, когда началось, Катя не уехала. Сказала: «Ты здесь, и я здесь». Немцы вошли в Смоленск в июле. Готлиб с женой остались в городе. Немецкая фамилия спасала — не угнали в плен, не расстреляли. Но и доверия не было. Свои же смотрели косо. «Немец» — и всё.

Мобилизовали в рабочий батальон. Чинить технику. Копать. Разбирать завалы. Готлиб работал, не поднимая головы. Катя осталась в городе. Он писал ей письма, но не знал, доходят ли.

1943

В сорок третьем отправили на передовую. Сказали — на неделю. Починить три машины — и обратно.

Попали под бомбёжку.

Дальше — темнота. Боль в голове. Кровь течёт по лицу, заливают глаза. Он бежит, не видя дороги. Падает в какой-то окоп. Там уже кто-то есть. Старый, в рваной одежде, дышит

тяжело. Готлиб хочет что-то сказать, но язык не слушается. Только смотрит на старика. И старик смотрит на него. Спокойно. Без страха. Будто уже всё понял.

Потом — ничего.

И последнее, что он чувствовал — кто-то рядом. Кто-то большой, тёмный, древний. И тепло. В последний раз — тепло.

ЕГОР ПЛОТНИК

А потом память другого. Такая же чужая, такая же своя.

Он — Егор. Родился в 1885 году в деревне под Смоленском. Отец — плотник, дед — плотник. И он плотник. Дома ставил, мосты чинил, на барскую усадьбу работал — там и научился тонкой работе.

В 1905-м женился. На Марии, соседской девке, круглолицей, с веснушками. Фотографию делали в городе, специально ездили. Он — в чистой рубахе, с пилой в руках, чтобы память была на фотографии, что он плотник. Она — в платке, с сыном на руках. Митькой назвали. Первенец.

Революция, коллективизация — всё прошло стороной. Его работа нужна была всегда. При немцах тоже строил, но немцы ушли, а он остался.

В сорок первом Митька ушёл на фронт. Егор остался в деревне с Марией. Немцы пришли, сожгли деревню. Марию убили. Он сам вырыл ей могилу, поставил дубовый крест. И ушёл в лес.

В партизанах был «дед Егор». Хотя ему было только под шестьдесят. Строил землянки, чинил карабины, делал лыжи, сани. Молодые слушались, уважали. В разведку уже не ходил — возраст, но тропы знал все. Проводил, приводил, ни разу не заблудился.

В сорок третьем отряд попал в засаду. Егора ранили. Он отбился от своих, укрылся в старом окопе. Лежал, ждал. Знал, что не выживет. Кровь шла из груди, каждый вдох — как ножом.

Потом ввалился кто-то. Молодой, в военной форме, весь в крови. Упал рядом. Смотрит. Глаза светлые, большие, в них ужас. Егор хотел сказать: «Не бойся, сынок», но не смог. Только губы шевельнулись.

А потом — тишина.

И кто-то большой, тёмный, древний склонился над ними. Егор почувствовал — его берут. Его память, его руки, его жизнь. И он не сопротивлялся. Зачем? Всё равно умирать.

Только подумал: «Митьку бы повидать. Да где уж».

И всё.

РОЖДЕНИЕ

Дрёма брёл по разорённой земле, сытый, даже пресыщенный. Война — время боли, страха, смертей. Сырья было много, гнилого, чёрного, густого. Он пил его без остановки, не разбирая, и почти потерял себя в этом потоке.

А потом набрёл на окоп.

Там лежали двое. Совсем рядом, плечом к плечу. Один — русский плотник Егор, пожилой, с натруженными руками и спокойным лицом. Второй — немецкий механик Готлиб Шлафер, молодой, с застывшим удивлением в глазах. Память их ещё теплилась. В воспоминаниях проносились лица

любимых. Запах родного дома. Первое слово ребёнка. Вкус хлеба. Обиды. Надежды. Мечты.

Дрёма остановился. Он никогда не брал такое. Только сырьё, только гнилое, только с крохой радости. Но сейчас он был переполнен войной, болью, смертью. Ему нужно было что-то другое. Что-то чистое. Что-то, что помогло бы ему не захлебнуться в чёрном потоке.

Он склонился над ними. Бесплотный, невидимый, без рук и без глаз. И взял.

Взял память Егора. Взял память Готлиба. Взял их имена, их лица, их жизни.

Но память — это не тело. Из памяти не слепишь плоти. А он захотел стать человеком. Не просто помнить — быть. Дышать. Чувствовать холод и тепло. Держать в руках не чужие воспоминания, а настоящие вещи.

Он посмотрел на мёртвых. На их тела он не мог посягнуть — мёртвое принадлежит земле, таков закон. Но было то, что уже не принадлежало ни живым, ни мёртвым. То, что осталось на одежде.

На плече шинели Егора лежал волос. Один-единствен-

ный. Светлый, с проседью, выпавший, когда старик проводил рукой по голове в последний раз. На воротнике мундира Готлиба — другой. Тёмный, короткий, застрявший в грубой ткани.

Дрёма взял их. Не руками — у него не было рук. Он взял их своей сутью, своим голодом, своей тысячелетней тоской по форме. Два волоса. Две нити.

И начал растить.

Волосы задрожали, ожили, потянулись друг к другу. От светлого пошло тепло — тепло дерева, нагретого солнцем, тепло рук, державших топор, тепло дома, где ждали. От тёмного пошла тяжесть — тяжесть металла, точность механики, холод стали и жар моторов. Они сплелись, как корни, как жилы, как судьбы двух людей, никогда не знавших друг друга при жизни.

Из этого сплетения начало расти тело.

Сначала — остов. Не кости, а их тень, их память. Позвоночник Егора, широкие плечи Готлиба. Потом — мышцы. Те, что помнили тяжесть брёвен, и те, что знали усилие гаечного ключа. Потом — кожа. Гладкая, чистая, как новая страница, на которой ещё ничего не написано. Потом — кровь.

Медленная, густая, несущая в себе и русскую зиму, и саксонскую осень.

Дрёма кричал. Беззвучно, без голоса — но кричал. Плоть входила в него, как гвозди, как огонь, как ледяная вода. Он, веками не знавший боли, теперь узнал её. Каждая клетка рождалась в муке. Каждый вдох давался сопротивлением.

Но он не останавливался. Он хотел стать. Хотел БЫТЬ.

И когда первый луч солнца упал на край окопа, из земли поднялся человек.

Он стоял, шатаясь, не веря себе. Смотрел на свои руки — живые, тёплые. Сжимал и разжимал пальцы. Чувствовал, как бьётся сердце — одно на двоих. Слышал, как воздух входит в лёгкие — впервые за тысячелетия.

Он знал, что его зовут Егор Готлибович Шлафер. Что в нём живут две памяти, две жизни, две смерти. И что теперь ему надо научиться быть.

Он сделал первый шаг. Потом второй. И пошёл — не зная куда, не зная зачем. Просто пошёл. Потому что человек, если он жив, должен идти.

КТО-Я?

Горын сидел на табурете, смотрел на фотографии. Два лица. Две жизни. Одна — его, вторая — тоже его. Многие десятилетия он носил их в себе.

Он провёл пальцем по фотографии Готлиба. Военная форма, усы, серьёзный взгляд. Сорок лет. Механик, чинивший технику под бомбами. Немец, ставший русским. Человек, умиравший в окопе и думавший о жене, оставшейся в Смоленске.

Потом — фотография Егора. Молодой плотник с пилой, двадцать лет, жена с сыном на руках. А в памяти — война, лес, партизанский костёр. И смерть в окопе, в пятьдесят восемь лет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.